

На курорте

Александр Серафимович

*(Избранные произведения, Москва 1976.
Копия 14 января 2005 г. — не проверена.)*

I

На крайней скамье гранитной набережной сидел, сторбившись, человек в сером потертом пальто, с серым, землистым лицом, с ввалившимися висками и глазами, в которых светилось одиночество. Он долго и неподвижно сидел с растерянной, болезненной улыбкой, блуждавшей по его землистому лицу.

Кругом было так ярко, что у него кружилась голова. Море, солнце, небо, горы, черневшие лесами, обрывавшиеся ущельями, веселенький петрострый городок, раскинувшийся по полугорью, — все это стояло вокруг, сверкая линиями и красками. Слишком много впечатлений, новых и ярких, ворвалось в душу за последнее время.

Серый человек поднялся все с той же растерянной улыбкой удивления, почти изумления перед всем виденным. Расправляя затекшие ноги, он тихонько пошел вдоль моря, щурясь от блеска и весеннего тепла и удерживая приступ кашля.

Всего пять дней тому назад он был среди совершенно иной природы, иной обстановки, иной жизни. Сосны, мокрый, непотаявший снег, почерневшие в оттепель, с проступившим по ним навозом, проселочные дороги, серые, низко бегущие облака, глухая деревушка, тяжелый воздух школьного помещения, ребяташки, шум, гам, наезды начальства, страх перед ним — все это пять дней тому назад наполняло его жизнь. И эта жизнь тянулась годами.

Серый человек остановился и, опираясь о гранитный парапет набережной, стал кашлять. Он кашлял долго, настойчиво, с выступившими на глазах слезами, с подергивавшимся от усилий лицом. Потом, отерев усы и бороду, торчавшие редкими кустиками, чувствуя, как на минуту все кругом померкло, он присел на скамью и, отдышавшись, опять по-

шел — и опять перед ним было море, солнце, горы, был все тот же яркий весенний день и оживленно проходившая мимо публика.

— Барин, сапог чистить, сапог чистить, барин, пожалуй!

Черный татарчонок, сидя на мостовой, пристально следил за мелькающими ногами проходящих. Возле него стояли расписной ящичек с углублением для ноги и с бубенчиками, которые он пошевеливал, они мелодично позванивали.

— Каспадин, пожалуй, каспадин!

Серый господин, остановился все с той же добродушно-растерянной улыбкой.

— Ну, чего тебе?

Но татарчонок уже схватил его ногу, поставил в углубление ящичка, завернул слегка брюки, торопливо обмазал сапог полужидкой ваксой и необыкновенно быстро и ловко стал чистить разом двумя щетками. Серый господин стоял с улыбкой на лице, чувствуя легкое щекотание, удивляясь странности и новизне этих уличных услуг. Через минуту сапоги блестели, как зеркало.

Татарчонок, зажав монету, поставил, позванивая, ящичек на плечо, прошел наискось через улицу, кивая головой, прищелкивая языком, и сел снова у панели, ловя глазами мелькающие ноги проходившей публики.

А господин с блестящими сапогами постоял с минуту, добродушно глядя на уходившего мальчишку, и покачал головой.

— Чудной народ! На улице сапоги чистят!

И он пошел дальше, испытывая все то же опьянение от света, тепла, от этой беспредельной водной глади, поражающей своим простором, этих гор, в которые упирался взгляд, загораживавших полнебосклона и стоявших неподвижно и таинственно. Казалось, невозможно было привыкнуть к их синееющим массивам, неизмеримо подымавшимся над всем, что копошилось здесь внизу, у их подошвы, к их изломам, причудливо вырисовывавшимся на синеве неба, — привыкнуть после той однообразной, всегда одинаковой бесконечной равнины с еловыми и сосновыми лесами, балками, лощинами, отлогими невысокими холмами, — там, далеко на севере, где он провел всю жизнь.

Он прошел мимо странного здания, стоявшего на сваях, далеко вдаваясь в море, которое оказалось купальней, как он прочел на фронтоне, перешел небольшой мост, под которым бурлила горная речонка, клокоча и завораживаясь белеющей пеной вокруг камней, принесенных с гор, и шурша галькой и крупный песком, и пошел мимо зеркальных окон ресторанов, за которым виднелись столы, покрытые ослепительно белыми скатертями, серебро, вазы. За столами сидели очень важные господа в черных сюртуках, в белых манишках, а перед ними стояли еще бо-

лее важные господа во фраках, чисто выбритые, серьезные и, казалось, недоступные.

И только потому, что первые сосредоточенно ели, держа как-то особенно умело в руках ножи и вилки, а вторые с салфетками в руках почтительно глядели им в рот, он заключил, что последние прислуживают. И вся эта обстановка высоких, просторных комнат с красивыми диванами, с длинной резной сойкой, сплошь уставленной закусками, бутылками, графинами, рюмками, с огромными окнами без переплетов, затянутыми сплошным зеркальным стеклом, толстым, как лед, производила на него впечатление какого-то недоступного дворца, особого мира, где двигались, разговаривали, сидели, закусывали люди из совершенно иного мира, полные достоинства и знания себе цены. Дальше сплошь шли такие же огромные зеркальные стекла магазинов, других ресторанов, аптек. Шелковые материи, ковры, оружие, дорогие вазы, безделушки, золотые и бриллиантовые вещи глядели из-за стекол.

Он остановился перед одной громадной витриной, где была выставлена большая картина: в черной с золотом раме открывалась спокойная, уходящая вдаль водная гладь, в которой отражалось небо, и неподвижная, одиноко стоящая лодка с повисшим парусом. Он обернулся и посмотрел на море; так же необозримо в нем отражалось небо и дремала лодка с замершим в знойной истоме парусом.

Долго он стоял перед этой картиной. Никогда ничего подобного ему не приходилось видеть. Он видел только рисунки в разных иллюстрациях на олеографии, но он никогда не представлял себе, чтобы можно было смотреть в раму, как в окно, из которого открываются море, небо, облака, неподвижная лодка и сливающаяся с синевой даль. И эта картина, и внутреннее помещение ресторана за огромными стеклами, которых почти чувствует глаз, мальчишка, чистивший ему на улице сапоги, яркий, ослепительный день, зеркальная поверхность моря, отражавшая блеск, горы, которые, как он постоянно чувствовал, стоят позади, — все это слагалось в одно общее сложное впечатление, с которым он не умел, не мог справиться и разобраться. Перед ним точно разодрался краешек серого, спускавшегося со всех сторон неба, низко покрывавшего с детства знакомый ландшафт какого-то иного, поразительно нового мира. Он не мог ясно и отчетливо формулировать своих новых ощущений и так выразил их внешним образом:

— Ну и здорово же нарисовано! Как живое, как будто на самом деле!

Он покачал головой и пошел дальше. Вдоль улицы тянулась аллея. Конскокаштанник стал уже распускать свои клейкие лапчатые листья. Воробьи весело гомозились в ветвях. Справа из-за зданий опять открылась блестящая на солнце под водой гавань с судами, лодками, фелюга-

ми, с краснеющими на воде баканами, с лесом мачт и угрюмо дымившими черными пароходными трубами.

У мола, начинавшегося недалеко впереди от берега, виднелось высокое здание таможни, у которой взад и вперед ходил часовой — молодой парень с зелеными обшлагами и примкнутым к ружью штыком и с выражением особенной важности исполняемого им дела, как будто бы он молчаливо говорил: «Я пристрелю или приколю, если вздумаешь тут что-нибудь делать. Видишь, я на посту!»

Господин в сером пальто осторожно прошел мимо него и поднялся по круто взбегающей на гору улице. Вот и «номера», в которых он жил. Они выходили на море, но он занимал крохотную комнату, перед единственным серым, запыленным окном которой возвышалась глухая, с облупившейся штукатуркой стена соседнего дома.

II

Когда он вошел в номер, там все было резко противоположно тому радостному, веселому настроению, что царило на улице. Серые стены, бахрома запыленной паутины под потолком, засиженные мухами, невымытые окна, таз с грязной водой, чемодан, стол, стул, кровать. Он попросил себе чаю, и половой принес ему кипяток в грязном чайнике.

Напившись и закусив колбасой, жилец почувствовал, что ему больше нечего делать и что он совершенно одинок в городе. Он подошел к окну. Сумерки быстро наступали. В окно была видна штукатурка соседнего дома. Из-за строений со стороны моря мерно доносился глухой и тяжелый шум, точно там пересыпали огромные кучи песку или мелкого гольша. Чувство одиночества смешивалось с впечатлениями ярких картин дня. Усталость и слабость овладели им. Он лег на постель, не раздеваясь, и натянул на голову пальто.

Под пальто сделалось душно и жарко, а он думал: «Нет, надо обдумать». Что обдумать? А все: горы, море, жаркое солнце, лодку с повисшим парусом, молочную дымку на горизонте, всю свою жизнь, и откуда этот возрастающий и падающий глухой шум за стеной, который среди ночи мерно и тяжело отдается в зданиях и в земле. По-видимому, без связи ему представилось, как он ехал на пароходе. Ночь наступала отовсюду, по обеим сторонам уходила все та же движущаяся темная волнующаяся поверхность, в небе не было ни одной звезды, и пароход, по которому беспрерывно бежало легкое содрогание, казался одиноким и заброшенным. Вдруг на горизонте, черту которого уже нельзя было различить, ярко загорелась кроваво-красная звезда. Она горела, казалось, на краю мира.

Потом ночную темь пронизала яркая белая светящаяся точка и потухла. И эта пустынность, волнующееся в темноте море, стоявшая вокруг безграничная ночь вдруг вызвали впечатление смерти и кончины мира. Во мраке снова засветилась яркая точка, вспыхнула красным, потом зеленым светом, вспыхнула и снова померкла. Долго он стоял в темноте, чувствуя непрерывное содрогание парохода, и что-то неотвратимое, роковое и безразличное, как ночная тьма, заполняло его душу. А пароход себе шел да шел, и движущаяся, волнующаяся поверхность неустанно бежала туда, где вспыхивала и меркла странная звезда.

«Впрочем, все это не то... О чем бишь я хотел думать? Отчего это мысли не идут так, как хочешь?» И он старался думать о солнце, о тепле, о блеске моря, о жизни, какая должна быть в виду этих синееющих гор, синееющего неба, а ему представлялась ровная ночная тьма, и в этой тьме — без конца и краю двигающаяся, волнующаяся невидимая поверхность и зловеще вспыхивающая то кровавым, то зеленым светом таинственная звезда.

Ему стало душно, и лицо покрылось потом. Он разом откинул пальто, в полумраке комнаты выступил, светлея, четырехугольник окна. Глухой прибором тяжело и мерно и теперь яснее наполнял ночную темноту.

Это мерно нараставший и падавший шум был так не похож на ровный, однообразный, задумчивый шум соснового бора из далекой родины, где жизнь у него шла так заученно, монотонно, однообразно, как этот однообразный лесной шум, в продолжение десяти лет. В продолжение десяти лет каждый день было одно и то же, и он никогда не думал о том, тяжело это было или нет, а просто вставал утром, наскоро пил, если имелся в запасе, чай «вприкуску» и торопливо шел в школу, где ребятишки ходили на головах. Он прикрикивал на них и начинал заниматься. Ребятишек было много, поэтому одну часть из них он заставлял писать, другой задавал задачу, с третьей сам занимался, но так как в одно и то же время он не мог с должным вниманием сосредоточиваться на всех трех группах, то обыкновенно не успевали ни та, ни другая, ни третья. К концу занятий, когда в школе, оттого что было тесно и ребятишки вели себя не совсем корректно, можно было вешать топоры, он распускал ребят и шел обедать. Ему готовили обед в соседней крестьянской хате, и он привык за эти десять лет к каше, к постному маслу, ржаному хлебу, луку, квасу. Но он привык не только так обедать, но и проводить дни так, как он их проводил эти десять лет. Чувствуя после обеда в желудке тяжесть, как будто туда наложили кирпичей, он шел усталый, переваливаясь, на свою квартиру, где растягивался на кровати. Зимой это было лучшее время дня. Растопленная с утра печь наполняла комнату теплым, баннным воздухом. И от этого являлся позыв мечтать.

Куря толстую из дешевого табака папиросу, протянув по сбившемуся одеялу ноги, учитель предавался приятному послеобеденному безделью и, пуская горький и едкий дым, стлавшийся под низким почерневшим потолком, думал о своих делах. Но дела эти обыкновенно в это время представлялись ему в обратном виде. Ему представлялось, что он получает не полтора ста рублей в год, как это было на самом деле, а ровно вдвое — триста рублей. Это двадцать пять рублей в месяц! Боже мой! От этой цифры у него слегка шла голова кругом, и он сильнее затягивался папиросой. Ведь тогда все совсем переменялось. Он живет уже не в крохотной каморке, а нанимает «чистую» половину у дяди Митрия; у него есть чай и сахар на каждый день; на зиму можно купить валенки и обшить их товаром. Старый его полушубок давно облысел — вся шерсть вытерлась, вылезла, и он присмотрел у кабатчика новый черный дубленый полушубок за девятнадцать целковых. Он представлял себя в новом полушубке, который хорошо и плотно лежит на нем, в новой форменной фуражке, в новых валенках, ловким, здоровым и сильным, и почему-то при этом представлении довольства, тепла, нового, хорошо пригнанного платья, из облаков табачного дыма, заполнявшего каморку, выступало здоровое, румяное рябоватое лицо девки, что служит у кабатчика.

— Э-эх!...

Учитель вздыхает, снова натягивает пальто и укрывается с головой.

Семь лет тому назад батюшка говорил ему, когда он стал просить разрешения жениться на его второй дочери:

— Ну, благословлю я вас, скажем, благословлю, — ну, как же вы обходитесь будете? Как обходитесь будете? Деточки пойдут, бог благословит, сказано бо: плодитесь и размножайтесь, а у тебя двенадцать целковых в месяц, — одному не на что глядеть. И рад я вас, скажем, благословить, рад благословить, да куда вы, сырые, приклоните главы свои? Я стар, немощен, скоро бог призовет, куда вы, сырые?... Кабы ты дослужился, ну, скажем, триста рублей в год, — слова не скажу тогда: да благословит вас господь бог. Нет, сын мой, не судил вам господь. Мне помирать скоро, а ты неси без ропота свой крест до конца.

Поплакала поповна, он с полгода сам не свой ходил, потом опять пошло все по-прежнему: школа, ребяташки. Поповна вышла за семинариста, посвященного в дьяконы в соседнем приходе, а он вот лежит на кровати в меблированных комнатах в незнакомом городе, среди незнакомых людей, чуждой обстановки и слушает, как шумит в ночной мгле за окном немолчный прибор. И опять встают горы, море, солнце, набережная, рестораны, публика, страшно мешаясь с впечатлениями деревенского житья, соломенными крышами, мужиками в лаптях.

III

Годы шли, он все меньше и меньше вспоминал о поповне, о своем угле, о детишках с белобрысыми головками, которые бы сидели за чайным столом. Дни, повторяясь друг за другом, как тиканье стенных часов, все покрывали, нивелировали, делали безразличный. Он ездил в город ежемесячно за жалованьем. Это было для него каждый раз целым событием. Городишко был маленький, глухой и захудалый, но ему после деревенских изб, после навоза, плетней, соломенных почернелых крыш — здания острога, полицейского управления, казначейства казались чуть не дворцами. Другим событием, нарушавшим однообразие деревенской жизни, были наезды начальства. Каждый месяц приезжал инспектор народных училищ, маленький, кругленький женолюбивый человек, и раз или два в год — сам директор. Когда приезжало начальство, учитель делался сам не свой, и не потому, чтобы у него плохо шло дело, — шло оно у него не лучше и не хуже, чем в большинстве школ уезда, — а в силу какого-то внутреннего, органического, неотвратимого страха. И начальство у него не было свирепое или особенно придирчивое, но весь уклад, отношения, манеры, голос, движения — все как будто говорило: «Эй, смотри, помни мне, смотри!...» И он помнил, постоянно помнил, и, когда приезжало начальство, делался совершенно неузнаваемым: суетился, лицо глупело, без толку тыкался к ученикам и, когда шел наконец провожать чувствовал себя разбитым. Каждый раз перед приходом начальства он убеждал себя и думал: «Ну, чего я? Разве он не из такой же глины слеплен, что и я? Дело у меня не хуже идет, чем у других, чего же я? Э, брат, не робь, дело ведь в шляпе».

Но когда в околицу въехал тарантас инспектора и, звеня бубенцами, подкатывал к школе, а из него, кивая головой, любезно здороваясь, вылезал *сам*, все рассыпалось, и страх, неотвратимый, непреодолимый, против сознания, охватывал учителя.

И странно, тогда он относился к этому своему состоянию, как к чему-то естественному, неизбежному, не задаваясь по этому поводу никакими вопросами и лишь чувствуя несказанное облегчение, когда начальство уезжало. *Теперь* же все это, этот страх и трепет вдруг показались ему ненужными, лишними в его жизни.

— Почему?

Он не мог ответить на этот вопрос, но все, что он пережил за последнее время, все, что он увидел за эту поездку, что открывалось перед ним, — все это, вся эта новая обстановка как будто отбросила отблеск на его прошлую жизнь, и она ему показалась при новом освещении.

С чего же это началось? Полгода тому назад, когда он, усталый и голодный, возвратился из училища и вошел в свою каморку, у него странно защекотало в горле. Он закашлялся и стал откашливать вместе с мокротой сгустки крови. Он испугался, лег и пролежал в постели два дня. Кровохарканье больше не повторялось, но стала одолевать незнакомая дотоле слабость; по утрам его лихорадило, а ночью он подымался с постели в поту. Но, как и все в эти десять лет, эти признаки недомогания понемногу вошли в обычную колею, стали чем-то ординарным, и дни опять пошли один за другим, как мерное покачивание маятника. По-прежнему он ходил в училище, возился с ребятами, предавался после обеда мечтам, чувствуя у себя кирпичи в желудке, и ездил в город за жалованьем.

Как-то в деревню завернул земский участковый врач, с которым обыкновенно в каждый его приезд учитель и батюшка садились играть в карты.

— Что это, батенька, вы так посерели? — проговорил он, прожевывая кусок ветчины после рюмки отличнейшей матушкиной настойки из морошки.

— А что? — спросил учитель, сдавая карты.

— Да уж больно худ стал.

— Неможется что-то. Я давно хочу обратиться к вам, Иван Иванович.

И он рассказал ему о своих недугах.

— Э, что же вы! Такие вещи нельзя запускать.

После карт доктор прошел с ним и отдельную комнату, выстукал, выслушал, и лицо у него сделалось серьезным.

— Вот что, Иван Матвеевич, — проговорил он, — вам нужно бросить работу и уехать отдохнуть, и уехать сейчас же, не теряя ни одного дня.

Учитель в первый момент опешил.

— Позвольте, как же это так?.. Разве опасно? — бормотал он.

— Ну, уж сейчас и опасно! Опасного пока ничего нет, а меры надо принять, запускать нельзя.

— Да как же это так... право, я уж не знаю... Отпуск нужно брать, как начальство посмотрит, и денег у меня нет. Вот лето придет, каникулы, и отдохну.

— Нет, лета вам нельзя ждать. Сейчас же уезжайте на юг, а деньги соберем как-нибудь.

Учитель заметил, что батюшка и вся семья его после этого случая стали относиться к нему как-то особенно тепло и участливо; матушка постоянно угощала молоком и часто присылала на дом по утрам кувшинчик только что надоенного парного молока. Это его трогало и в то же время вселяло неопределенное беспокойство.

Как-то после обедни, когда он выходил из церкви за толпой истово крестившихся на паперти мужиков и баб, матушка пригласила его к себе попить чайку. Пришел и батюшка. Поговорили о помещике, который приезжал с семьей к обедне, о кормах, которые совсем пришли к концу, и скотина стала голодать, о ссоре старшины с писарем, вышили по семи стаканов чаю и, отирая взмокшие лица, перешли с батюшкой в крохотный залик. Батюшка понюхал табаку, крякнул и проговорил:

— Все господь, все он, творец небесный, без его ведома волос с головы не упадет. Вот и вы, Иван Матвеевич. Унывать не нужно и впадать в отчаяние, а надеяться надо на него и возносить молитвы к престолу его, ибо его святая воля. Вот тут мы с Иван Ивановичем чем могли... вам на дорогу и на прожитие... Полечитесь, поезжайте. Господь не оставит, святой Пантелеймон-великомученик исцелит... Тут и председатель управы и предводитель помог...

Батюшка, завернув с кармана шаровар рясу, порылся там, достал небольшой пакет и подал учителю. Тот, растерянный, с красными пятнами, проступившими по лицу, нерешительно взял деньги.

— Поезжайте, полечитесь, поживите, отдохните, отгоните все заботы и не забывайте ежечасно вспоминать небесного целителя и врачевателя душ наших. Он исцелит и поможет.

Иван Матвеевич вернулся домой. У него голова пошла кругом и от громадной суммы, которую он в первый раз имел в руках — там было сто пятьдесят рублей, — и от неожиданно осуществившейся возможности поездки, о которой он и мечтать не смел. Начальство благодаря свидетельству, выданному доктором, разрешило отпуск. Затем события пошли с быстротой, от которой он еще и до сих пор не успел прийти в себя — сборы, проводы, дорога.

У крыльца его квартиры уже стояла, понутив голову, маленькая запаршивевшая лошаденка, запряженная в широкие розвальни, в которых его возница настилал сено. К квартире стали подходить крестьяне. В зипунах, в рваных полушубках старики, с изрезанными морщинами, обветренными лицами, обив в сенях от снега сапоги, входили в крохотную комнатку, нагибаясь у порога, чтобы не удариться о притолоку, и истово крестились на угол. Скоро в маленькой комнатке набилось столько народу, что негде было повернуться. Иван Матвеевич, взволнованный, торопливо совался во все углы, брал ненужные вещи в руки, двадцать раз отпирал и запирали свой единственный старенький чемодан и то и дело выбегал на крыльцо посмотреть, все ли готово, хотя нечему было готовиться, — лошаденка с опущенной шеей стояла на месте, и в санях было настлано сено.

То один, то другой из стариков не спеша развязывал грязную тряпицу и доставал кувшинчик молока, пару печеных яиц или ржаную на масле «шанежку».

— Бери, Иван Матвеевич, — дорожному человеку сгодится. Счастливого пути, и дай господи, мать пресвятая богородица тебе выздоровления. Как очунеешься, к нам, значит, ворочайся, а то без тебя ребята совсем от рук отобьются. По воскресным-то дням часто сладу нет с ними — сигают, кричат, балуются. А Иван-то мой теперича десятником на чугушке, дай тебе господи здоровья. Как пришли они туда, начальник ихний и выкликает: которые грамотные? Иван-то и вышел, а боле никого, ну, его и поставил. Деньги присылает каждую получку, лошадь купили, тебя все поминаем.

Это участие, это признание заслуг за ним до глубины души тронули его. Для него все это было полной неожиданностью. Он не думал никогда о своих отношениях к крестьянам, да если и думал, так ему казалось, что никаких таких отношений и нет. Мужики сеяли, пахали, косили, рубили лес, возили навоз, а он каждый день ходил в училище, занимался, кричал на учеников, уставал, настаивал, чтобы лучше топили школу, для которой жалели дров, чтобы давали сторожа, чтобы не забирали детишек рано по весне для полевых работ.

Последние события, эти проводы, эти лица, изрезанные морщинами терпения, труда и тяжелой жизни, простые слова, разворачиваемые заскоружлыми руками кульки с «шанежками», которые разве топор мог взять, — все это вывело его из обычного мерного хода жизни...

Вспыхнувшая кроваво-красная звезда загорелась ровным белым светом, и лучи ослепительно коснулись волнующейся, двигающейся поверхности, торопливо улегавшейся в ровную бесконечную водную гладь. И в ней отражалась лодка с сонным парусом, и голубое небо, и солнце посылало блеск, от которого смыкались глаза, а вдали синели горы.

.

Когда на другой день недостучавшийся номерной вошел в комнату, он увидел, с одной стороны, выставившиеся из-под поношенного пальто ноги в вычищенных сапогах, а с другой — серое лицо с застывшей навсегда улыбкой.